

НИКОЛАЙ ИВАНОВ



## ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА

НОВЕЛЛА

1

В Россию текла боль.

Она с усилием переваливала своё рваное, длинное тело через кособоры, глотая пыль с терриконов и собирая для пропитания колоски среди сторевшей на полях бронетехники. Её саму из последних сил тащили на костылях, толкали в детских колясках и несли спелёнутой на руках. Везли в набитых нехитрым скарбом машинах. Именно по ним, по машинам, и узналось: а боль-то сама по себе бедна, богатые на таких стареньких “жигулях” не ездят.

Её останавливала, пытала и исподтишка пинала на блок-постах родная украинская армия, обвиняя в предательстве и грозя то ли отлучить от родины, то ли наоборот — никуда не выпускать. При этом боль сама могла тысячу раз, ломая шею, сорваться с крутых склонов, свалиться с искорёженных пролётов на разрушенных мостах и навеки остаться на домашней земле под наспех сколоченным крестом. Но всякий раз она находила и находила силы двигаться дальше. Её двужильность удивляла, это нельзя было ни понять, ни объяснить. Особенно тем, кто не видел, с какими муками она рождалась под минами в посёлке Мирном. Как вдоволь, словно про запас, насыщалась слезами в городе Счастье. Как горела днём и ночью в Металлисте. Уродовалась в Роскошном, превращалась в чёрные кровавые сугустки в Радужном,

---

*ИВАНОВ Николай Федорович родился в 1956 году в Брянской области. Закончил Московское суворовское военное училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Воевал в Афганистане, провёл четыре месяца в плену в Чечне. Автор более двадцати книг прозы и драматургии, лауреат литературных премий им. Н. Островского, М. Булгакова, “Сталинград”, ФСБ России. Сопредседатель правления Союза писателей России. Награждён орденом “За службу Родине в ВС СССР” III ст., медалью “За отвагу”. Живет в Москве.*

плавилась в Снежном. Пряталась в тесных подвалах Просторного ради того, чтобы не померк свет, как в Светличном, и рыдала на Весёлой Горе...

Брела, текла по юго-востоку украинская боль — немая, но оттого легко переводимая на любые языки мира. Порой казалось, что это просто мираж Первой мировой, начавшейся таким же жарким летом 14-го года. Но ровно сто лет назад. Та война смела с планеты правых и виноватых, разорвала в клочки империи и загнала в небытие целые династии: ей после первого же выстрела становится всё равно, что засыпать в могилы — любовь или ненависть, добро или зло, счастье или боль.

Боли нынешней тоже не гарантировалась безопасность, и потому она вместе со всеми мечтала лишь об одном — побыстрее увидеть засечную черту. С пограничными вышками. С русскими солдатами на них. Там, за их спинами, за их оружием и могли прекратиться все мучения.

Но не торопилась, не спешила открываться граница. словно оберегая собственный дом от близкой войны, оттягивала и оттягивала засечную черту вглубь России. А может, просто давая людской боли возможность испить свою чашу до дна.

Вот только где оно, дно? Кто его вымерял-выкапывал? Под чей рост и какую силу?

Но не идти, не ползти, не ехать нельзя было, потому что за спиной “градины” от “Града” срезали бритвой деревья. Вспарывали крыши школ и детских садиков. Перемалывали в труху бетонные укрытия бомбоубежищ. А смешнее всего войне вдруг оказалось наблюдать за стеклянными ёжиками. Разбиваешь взрывом на мелкие осколки стекла, и они веером сначала впиваются, а потом шевелятся на людях, когда те начинают ползти. Дети ползут — маленький ёжик, старики — ёжик большой. Летом одежды на людях мало, видно всё очень хорошо...

Однако и на эти остатки живого после артиллерии серебристыми коршунами сваливались с неба МиГи и “Сушки”. Из-под их крыльев, как из сот, с шипением вырывались гладко отточенные “нурсы” с единственным желанием — доказать свою военную необходимость, своё умение рвать на куски, сжигать, крушить всё без разбору. Роддом и морг — одновременно. Водозабор и подстанцию — можно по очереди. Церковь, пляж, тюрьма — как получится. На то они и неуправляемые реактивные снаряды.

Вольготно на войне металлу.

Территория Новороссии, при любом исходе битвы уже обозначенная историей как Донецкая и Луганская Народные Республики, могла показаться адом, выжженной, потерявшей рассудок землей. Могла, если бы не ополченец “Моторола”, ломавший плоскогубцами гипс на своей правой руке ради фронтовой свадьбы, ради того, чтобы могла невеста по всем правилам мирной жизни надеть ему обручальное кольцо. Если бы не черепашка, которую нашли ополченцы в разрушенном детском садике и не поставили на довольствие в одном из своих отрядов самообороны. В конце концов, если бы не врачи, во время обстрелов прикрывавшие в реанимации своими телами малышей, которых нельзя было отключать от медицинских аппаратов и переносить в подвал при бомбёжке. А их, врачей, закрывали собой расставленными руками, — чтобы захватить как можно большее пространство, — обезумевшие матери этих недвижимых деток...

С усилением, с кровью, но жили, выживали Луганск и Донецк, хотя и сражались в одиночку. Соседние территории, исторически тоже считавшиеся Малороссией или тяготевшие к ней, не подтянулись, не отвлекли врага хотя бы ложным замахом. Укрылись в глухое молчание Харьков и Николаев. Да, обезглавили сопротивление, заполнили тюрьмы людьми с георгиевскими ленточками, но ведь не на пустом месте родился закон: вчера рано, но завтра — уже поздно!

Отворачивался Днепропетровск. Потеряло удалую казачью шашку под женскими юбками Запорожье.

Одесса? Город-герой оказался городом-героем всего лишь 50 сожжённых в Доме профсоюзов горожан. В других странах ради одного невинно убиенного вспыхивают народные восстания, мужество же одесситов иссякло вместе

с тайными похоронами этих мучеников. Смолчала Одесса. Не произнесли ни звука и её великие дерibasовские сатирики, ещё вчера поучавшие с экранов телевизоров всех нас достойно жить. Может, еще потому не встала Одесса, потому распылила великое звание “Города-героя”, что в нём с помпой открывали памятники портфелю Жванецкого и нарисованной, брошенной на тротуар под ноги прохожих тени Пушкина, но не ветеранам Великой Отечественной?

А может, ещё встанут? Ещё соберут силы и злость?

Но первый, второй, третий, четвёртый месяц Донбасс и Луганск, которые собранная на майдане в Киеве национальная гвардия вкупе с армией и частными батальонами олигархов обещали раздавить, как колорадских жуков, за десять дней, бились вопреки всем прогнозам. В соотношении 1 к 50. И тем значимее выглядело мужество одиночек, если даже в семимиллионном шахтёрском крае слишком многие посчитали, что война их не касается. Почувствовав эту слабость, власть в Киеве и взвела курок. Полетели “градины”, засветились в ночи начинённые фосфором бомбы, взмыли в небо стальные коршуны. Воевать глаза в глаза с ополченцами украинская армия не смогла, били по площадям, а значит, по невиновным, непричастным и отстранённым тоже.

Потому из Счастья, Мирного, Радужного, Славянска, легендарного “молодогвардейского” Краснодона, Шахтёрска, Ясиноватой, Дебальцево вытянулись колонны уходящих от войны людей. В Россию. К “агрессорам”, как объявили русских в Украине.

Вместе с беженцами потекла и боль. Никого не спросясь, ни с кем не посоветовавшись, она просто проникла в одежды, в глаза, в кожу, в сознание, в слова, в мысли, даже в сны людей, идущих к засечной черте.

## 2

Я ехал навстречу этой боли на БМП — универсальной, сотворённой для вёрткого, скоротечного боя боевой машине пехоты.

Её тонкие, изящные, словно только что вышедшие из-под педикюра траки легко сдирали мшистый слой дёрна вдоль просеки, ведущей к границе. Но я стучу ногой по левому плечу торчавшего из люка механика-водителя — сворачивай в эту сторону. У меня нет погон, камуфляж без опознавательных знаков, но бойцы слушаются, как безоговорочно подчиняются в незнакомой местности проводникам. Собственно, я и вывожу войска на самую удобную с военной точки зрения позицию. Сейчас ещё левее, потом рывок через выросший самосевом лесок...

Вообще-то я ехал в родные края в отпуск, а не водить колонны. Но в очередной раз грустно подтвердилось, что в нашей огромной стране, при её огромной армии воюют, выходят на острие событий одни и те же люди: что в Афгане, что в Чечне, что в Цхинвале я встречал в окопах одних и тех же офицеров. И даже здесь, в медвежьем углу брянского леса (древнее название города Дебрянск произошло как раз из-за непроходимых дебрей) нос к носу столкнулся на просёлочной дороге со знакомым полковником с Урала. Знать, не только Одессу и Донецк победило телевидение, если даже у нашей армии нет длинной скамейки запасных...

— Извини, нам пора, — дёрнул щекой через пару минут после встречи уралец.

Приказ для стоявшей за его спиной войсковой группировки уже знаю — вылезти из капониров, в которые пришедшие из глубины страны бойцы зарывали себя и технику последние три дня. И не просто снять маскировку, а обозначить себя как можно ярче в непосредственной близости от границы. Порадовался: неужели руководству страны наконец-то надоело прятаться на собственной территории и делать перед заграницей вид, что не ведаем о перемещениях своих войск?

— Свои тапки в своей хате ставлю хоть под лавкой, хоть на печку, — перевёл дипломатию и военный приказ на житейский язык уралец.

А я успеваю увидеть на его карте отметку около своего родного села. И хотя держал в уме и дальнюю, а потому, скорее всего, более верную при-

чину проснувшейся активности — оттянуть от Новороссии на этот участок границы войска украинской армии, помочь мужикам из ополчения хотя бы таким, косвенным образом — встаю перед другом-полковником по стойке “смирно”. Отдаю честь: готов быть рядом. Слов в данном случае не требуется, и командир кивает на головной “тапок” — залезай и рули.

Лишнего шлема со связью нет, рулю колонной по-афгански — ногами. Впереди до размеров солдат вырастают из-под земли боровички в зелёных касках и с оружием, перевязанным пропитанными зелёнкой бинтами, чтобы не блестели стволы среди зелёнки. Снимают с рогатин перегородившую нам дорогу длинную осину со срезанной через равные промежутки корой — чем не шлагбаум! При скорости начинают хлестать нависшие над дорогой ветки и приходит осознание полной зависимости нашего мира от случайностей: когда-то кого-то не отхлестали розгами по заднице, мальчики выросли, стали никудышными политиками, и вот теперь ветки бьют нас. Уже по лицу.

Благо, наша “гусянка” быстроходна и грудью вперёд, урча от скрытой мощи, вырывается из самосевки на простор. Под бинокли замерших на сопредельной стороне украинских пограничников.

Цыганочка с выходом.

Мазурка.

Барыня.

Гопак, в конце концов!

А лучше всего вальс. Но севастопольский! Он только что, этой весной прозвучал для России, и весь мир в оцепенении осознал её величие и силу: когда возродилась “Рашка”, когда вышла из-под послушания немытая Россия? Ведь к слабым целыми полуостровами не уходят!

И вот эта сила здесь. И я первым, помня о Новороссии, готов показать припавшим к окулярам украинским пограничникам, что сила эта сумасшедшая и могу ударить механика-водителя и правой ногой, направляя колонну на границу. Через засечную черту. Горючки почти до Киева! На стволах пушек — чехлы, но они скорее от пыли: 100-мм снаряды со скорострельностью 15 выстрелов в минуту прошьют ткань, не заметив этого. А рядышком — автоматическая пушка на 330 выстрелов в минуту. Под локтем гранатомет “Балкан” со скорострельностью уже 400–500 выстрелов в те же 60 секунд. Если в бинокль вдруг не видно, добавляйте на веру ещё два комплекса — для уничтожения вертолётов и выноса мозгов танкам. Вместе с экипажами. Ну, и куда без родных крупнокалиберных танковых пулеметов. Они — классика жанра. И всё это подо мной, под башней, на которой я восседаю царём на троне. В чреве только одной “гусянки”. А их пылит сзади с десантом на броне... Брррр. Бойтесь, ребята. Или хотя бы просто доложите наверх про наш демарш. Войной, конечно, не пойдём, но вдруг наш откровенный танец хоть немного заставит Киев задуматься о безнаказанности. Поможет притушить вашу же, украинскую боль, текущую в Россию за сотни километров отсюда. А может, как в былые времена, станцует вместе? Ради будущего. Оно ведь всё равно настанет, на Луну друг от друга не улетим. А вот Америка останется за океаном, его не выпьешь. Так что приглашаем! Пройдём по острию каната, как шутят в армии. Училища-то заканчивали одни и те же, ещё пока есть за что зацепиться в общем прошлом. В нём не называли презрительно фронтовиков колорадами, портрет приспешника фашистов Бандеры не висел образцом нации в государственных кабинетах, от русской речи скулы не сводило...

Проносимся мимо заброшенного колхозного сада, больше похожего на недоеное стадо коров, стоящее по колено в бурьяне. Десанту хочется яблок, лето с зеленью, ягодами и фруктами проходит мимо них, но скользят, елозят по броне малые саперные лопатки, притороченные к солдатским ремням. Для бойца неизменно правило — окоп раньше еды. Обустроимся, а потом можно и яблочек, даже молодильных, поискать.

Рывок на скорости недолгий — пошли рытвины от плугов. Они перед нашим сельским кладбищем и словно тормозят ретивых — к нам торошиться не надо. Не будем. Там уже лежат моя бабушка, первая учительница, облучившийся в Чернобыле друг. Стволы синхронно, как на плац-параде,

кланяются их могилам, и вслед за оружием, вроде бы просто потому что качка, кланяюсь и я. Вот, привёл защиту. Теперь можете лежать спокойно. Может, и хорошо, что не дожили до таких времён...

Кладбище — самое высокое место в округе, в кустарнике рядом с ним можно укрыться, а вот обзор на все 360 градусов. Прекрасна и связь, из села народ сюда ходит звонить и в Москву, и в Киев: оказавшись практически на равных расстояниях от столиц, мы и разъезжались по ним за лучшей долей тоже почти поровну...

Командиру неведомы мои переживания, привычно отдаёт распоряжения. Солдаты, то ли дурачься, то ли потому что по-иному не получалось, повернули бээмпешки к границе задом, в охотку погазовали и юркнули нашкодившими котятками в тень от деревьев.

Но не котята, конечно. Украина зазывает к себе всех, кто мог бы наказать, проучить, просто укусить Россию. Она готова стать плацдармом, подносить спички, снаряды, чтобы запольхало и у нас. В конце концов, выколоть самой себе глаз только ради того, чтобы у России был кривой сосед.

Потому и замерли на сельском кладбище БМП, по-китайски прищуривая от пыли глаза-триплексы. Целые и невредимые.

Командирам прищуриваться некогда.

— Это, случаем, не ваши? — полковник кивает на дубки, редкой стёжкой отделившей наши деревенские поля от украинских наделов.

К ним на всех парах неслась запряжённая в телегу лошадка. То, что в селе занимались контрабандой, не видела только полиция, но с приходом армейцев ситуация, конечно, изменится. Надо предупредить земляков, чтобы зачехляли свой “контрабас” от греха подальше.

Командир понимает, что даже спрятанных под броней 660 “лошадей” не хватит догнать телегу из контрабанды, дёргает щекой: хорошо, но это последняя. Потому, как он теперь главный на этом клочке России и отвечает за всё происходящее здесь. А точнее, за то, чтобы на нём ничего не происходило.

### 3

— Вроде пронесло.

Стёпка Палаш притормозил Орлика, вывернул шею. Танки не гнались, и он подмигнул лежавшему в телеге Кольке Трояку: вот так мы их по-партизански.

Но тут же затушевал мысли, вновь вскинув вожжи. Трояк в войну пусть и по малолетству, но числился в полициях, и, хотя отсидел за свою белую повязку сполна, при нём прошлое в селе старались не ворошить, щадили самолюбие.

Да только не объехать сегодня прошлое ни на Орлике, ни на кривой козе — вспомнится. Потому что ехали за сватом Трояка — Федыкой, умершим вчера на Украине. Последним сельским партизаном. Кто теперь будет красить в селе памятник серебрянкой перед 9 Мая? Когда по приходу немцев Кольку записали в полицию, Фёдор подался в лес. Жалел-завидовал потом Степан, что в это время совсем пацаном был, а то бы тоже, конечно, взял в руки оружие. И тоже имел бы потом все льготы ветерана и почести.

А вот Победа одного и тюремный срок другого так и не примирили бывших друзей одноклассников. Даже свадьба старшего сына Фёдора Максими́ча за девкой Трояка не посадила их за один стол.

— Ты что творишь? Хочешь, чтобы внуки были полицейскими? — метал громы и молнии Фёдор перед свадьбой.

— Люблю я её. А внуки будут партизанские! — не отступился сын.

Характером вылился весь в батю. А потому и первым из района поехал закрывать Чернобыль...

— Хороший человек был Федыка. Замысловатый, но не вредный, — опять нарушил молчание Степан.

Трояк согласно кивнул головой, хотя отношения сватьёв секретом ни для кого не являлись. А может, подакнул всего лишь одному слову — “замысловатый”: кто узнает мысли соседа, даже если ехать с ним в одной телеге?

— А от чего они, тромбы, отрываются? — не отпускали Степана мысли о покойном.

— Всё в организме от нервов, — пожал свободным плечом Трояк из своего лежбища в сене.

— Ещё хорошо, что позвонили оттуда. А то по нынешним временам могли просто в яму скинуть.

— Главное, вывезти.

— Вывезем. Давай, Орлик, давай, милый, — подхлестнул Степан коня, вставшего перед крутой насыпью украинской трассы.

Четырёхметровый ров, как в других местах, здесь хватило ума не рыть, колючую проволоку не натянули, а пограничников к каждому кусту не приставишь. Так что если не шуметь, то проскочить можно, контрабанду так и перекидывают, не спрашивая национальности.

Но Орлик скосил сливовый глаз, перебрал перед препятствием в неуверенности ногами, и мужикам пришлось спрыгнуть с телеги. Палаш взял коня за узды, потащил за собой наверх, Трояк упёрся в телегу сзади. Внатяг, все трое припадая на колени, но взяли пограничный рубеж. Повторить такой же подвиг с телом Фёдора вряд ли получится, сами свалят его в яму. А это грех несусветный, чтобы живые роняли мёртвых. Так что возвращаться придётся официально, длинной дорогой через пограничный пост.

Город знали, как собственное село: чай, пожили без границ, а поскольку Украина была значительно ближе собственного райцентра, то и в магазины, на поезда, в больницы ходили-ездили сюда. Без подсказок разыскали и морг. Там их заставили расписаться в какой-то бумажке и впустили в прохладный, матово освещённый барак: забирайте, который ваш.

Фёдор лежал на крайнем топчане. Заострившийся нос, выступивший вперёд подбородок и впавший рот изменили его облик, но не настолько, чтобы не узнать или засомневаться. На пиджаке висели колодки от медалей, но без самих кругляшей. На правой стороне, где по праздникам всегда красовался орден Отечественной войны, раной зияла рваная дыра.

— Как поступил, так всё и есть, — толстенький санитар, не дождавшийся подношения, демонстративно отвернулся и наседкой замер над остальными топчанами. Авось на каком-то и снесётся золотое яичко на обед...

Деда затоптали вокруг топчана, примеряясь, как подступиться к покойному.

— Бери за ноги, — скомандовал Степан.

Стараясь не смотреть на лицо свата, Трояк взялся за туфли. Они скользили, одеревеневшие ноги Фёдора норовили хотя бы ещё раз коснуться земли. На телеге порядок заранее не навели, и пришлось расправлять сбитую попону уже под умершим, чтобы ехалось ему домой мягко, без неудобств. От любопытных глаз прикрыли тело предусмотрительно прихваченной простышкой и тихонько тронулись.

Покрывало отбросили пограничники. Сверили Фёдора с фотографией на паспорте, бдительно ощупали сено под покойным, долго созванивались по телефону и в конце концов дали от ворот поворот:

— Вы нигде не переходили границу официально, а этот, — кивнули на телегу с умиротворённо лежащим Фёдором Максимовичем, — должен идти уже как груз. Через таможеню. Надо декларировать.

— Да вы что, ребята? Домой же везём. Человек умер, — опешил Степан, взявший на себя роль переговорщика.

— А откуда мы знаем, где и как умер? Может, возите специально, выведывая секреты.

— Какие секреты? — простодушно не понял Степан.

— Ну, железная дорога рядом. Да мало ли, что задумали. Вон, мотаетесь на танках вдоль границы. Что у вас на уме, откуда нам знать. Давайте назад, пока лошадь не конфисковали. Или ищите, какие хотите, справки. Назад.

Из машин, стоявших в очереди на пересечение границы, недовольно засигналили. Орлик нервно загарцевал, пытаясь развернуться с оглоблями в узеньком, огороженном бетонными блоками коридоре.

— Сейчас, сейчас, — бормотал Степан, стыдясь своей нерасторопности при всеобщем внимании.

Трояк тоже прятал глаза. А вот с лица Фёдора Максимовича покрывало на разбитой дороге сползало раз за разом, позволяя ветерку легонько перебирать его седые волосы.

— Слава Украине!

— Героям слава! — вдруг раздалась из узкой полосы парка, тянувшегося вдоль дороги, знакомая по телевизору речёвка.

— Кто не скаче, той москаль.

— Про нас, Колька, — с грустной усмешкой посмотрел на попутчика Палаш. На телегу пока не сажались, шли рядом с покойным. Но ускорили шаг, подстегнув вожжами Орлика — от греха подальше.

— Москаляку на гияляку.

— Что такое гияляка? — уже не без тревоги полубопытствовал Степан. Трояк сидел свой срок на Украине, за столько-то лет язык поневоле выучишь.

— Виселица.

Степан проворно вспрыгнул на телегу, кивнул напарнику — поехали отсюда.

— Хотя правильнее — шибениця, — попытался успокоить Трояк, словно на ней, шибенице, висеть приятнее, чем на гияляке.

А шум митинга нарастал, впереди через низенькую ограду стали перепрыгивать люди, пробуя останавливать машины. Первые успели увернуться, но толпа густела, и перед Орликом улицу, наконец, закупирили.

— Кто не скаче, той москаль, хто не скаче, той москаль, — запрыгала вокруг машин молодёжь.

Орлик задёргался, не понимая шума, а тут и к экзотическому транспортному средству подскочило несколько человек.

— Хлопці, кінь не скаче. Москалюка. Треба конфіскувати. На донецький фронт.

— Або нехай за него скачуть діди.

Степана и Трояка оторвали от телеги, задёргали, вовлекая в общий ритм скачки. Палаш несколько раз подпрыгнул, лишь бы отстали и не принялись потешаться над телом соседа. Да и с какого рожна отдавать им лошадь.

Его дряблых скачков оказалось достаточно, чтобы сойти за своего, а вот Трояк встал как вкопанный. Как Орлик. Но тому нельзя падать на колени, на них у него с рождения белые звёздочки, сразу замарают...

— Слава Украине! — принялись кричать в лицо деду пацаны с накрученными на руки цепями, требуя ответа.

“Фёдоров слава”, — вдруг произнёс про себя Трояк.

Наверное, ему ничего не стоило, как Палаш, два раза подпрыгнуть и уехать восвояси. Но жизнь, прожитая после войны на задворках, без права голоса, сейчас словно давала ему шанс начать ее последний остаток с чистого листа. Да-да, здесь, сейчас его не просто заставляли скакать бараном посреди улицы. Через 75 лет после начала войны ему вновь предстоял выбор. Возможность исправить трагическую ошибку юности. Обрести хотя бы на старости лет собственное достоинство. Пожить днём, с людьми, а не прятаться от из взглядов десятилетиями в ночных сторожах. А Фёдор, даже мёртвый, завёрнутый в попону, был судьёй, он из своего небесного далека словно готов был поверить, что тогда, после седьмого класса, произошла нелепая ошибка...

— Скачи! — нетерпеливо толкали Трояка. — Скачи, москаляка.

Из-за прыгающих тел строил страдальческую мину Степан — да прыгни ты, что взять с идиотов. Но Колька Трояк не трогался с места. Его уже толкали в спину, били картуз, и центр сборища, предчувствуя жертву, стал перемещаться к телеге, а он оставался нем и недвижим. Стало понятно, в какую катавасию попал перед смертью и Фёдор, как сорвали у него ордена...

— Да хлопцы, хлопцы, — порывался защитить друга Степан. — Он же глухонемой. Немой и глухой.

И как последнее спасение, сорвал простынь: не глумитесь при покойнике, не берите грех на душу. Простынь висела в поднятой руке белым флагом, он мог развести стороны, но в эту секунду Трояк, словно боясь опоздать, вдруг запел. Он помнил, когда пел на людях последний раз — в школьном хоре на Первомай, перед самой войной. Потом миллионы раз про себя в тюрьме и длинными ночами долгие годы при работе сторожем в колхозе.

А сейчас, на удивление толпе, самому себе, а более всего — Степану, негромко напел вслух:

— *Ой у гаю, при Дунаю  
Соловей щибече.  
Він же свою всю пташину  
До гніздечка кличе...*

— Да какой же он глухонемой? — замерла толпа, сама наполовину говорившая по-русски.

Однако песня звучала украинская, на телеге лежал покойник, и постепенно, отвлекаясь на другое, люди стали отходить. Первым развернулся парень с белым котёнком на плече, последним отошёл вояка с накрученной на рукавицу цепью. “Эх, такое бы на ведро, таскать воду из колодца”, — мимоходом отметил Степан. А то и впрямь, приходится верёвкой...

Слух о почившем достиг передних рядов, и не сразу, по одной машине, но затор стал рассасываться. Вслед Орлику свистнули, не без этого. Но именно лошади, а не умершему, — даже молодёжь озверела не до конца. В глазах Трояка стояли слёзы, он вытирал их истоптанным в пыли картузом, и Паша сочувственно тронул попутчика, готовый разделить его боль от ударов.

Только дед Коля Троячный не мог сдержать слёз не от боли, а от опустошившей его гордости. От забытой радости. От того, что выстоял, не запрыгал старым козлом. Что не сдался даже при поднятом белом флаге. И что теперь мог впервые за семь десятилетий долго, не отводя взгляд, смотреть в лицо свату: “Здравствуй, Фёдор. Вот так оно получилось. Спасибо тебе”.

— Как ты их! — поднял зажатую в кулаке вожжу Степан. — А я того... чтоб быстрее вырваться, — оправдался за себя, хотя деду Коле чужого не требовалось. — Запрыгивай. Но, милый. Домой, Орлик. А мы ещё побачим, хто и как будет скакать на морозе без газа. У нас цыплят по осени считают...

Подъехав к месту, где утром выбирались с русского поля на украинскую дорогу, остановились. Степан стал поправлять сбрую на лошади, а на деле выжидаая, когда освободится от машин трасса. Хотя следовало поторопиться: над лесом нахлобучивалась туча, потянул свежий ветерок, будоража лошадь. Они такие, они грозу ноздрями чувствуют.

Дед Коля тоже спрыгнул с телеги, вдвоём оглядели место спуска. Степан на правах возницы вздохнул:

— Можем перевернуть. Придётся переносить на руках.

Замешкались, не помня, головой или ногами нести тело с насыпи. Попробовали боком. Заскользили, путаясь в будьяльях старой травы. Как ни старались удержать Фёдора на весу, уронили. На трассе заурчала машина, и мужикам пришлось лечь, прикрывая покойного собой.

Подняли головы, лишь дождавшись тишины на дороге.

— За нас умер, — вдруг произнёс Степан. И хотя Николай не спорил, упрямо кивнул: — За нас. Мы жили — а он работал. Горел. Не было лучше соседа...

Степан словно тоже просил прощения у покойного за все споры и насмешки, случившиеся на долгом соседском пути-житии. А может, и за невольный белый флаг перед теми, кто убил Фёдора Максимовича. Легче было промолчать, никто не требовал оценок и подведения итогов, но это на похоронах, при стечении народа есть возможность укрыться за спинами других, а когда остаёшься один на один с умершим, совесть беспощадна и заставляет каяться.

— От совести умер, — подытожил Степан.

Троячный согласно примерил услышанное к свату. Глаза и рот у того от тряски приоткрылись, и он наложил ладонь на веки свату. Затем оторвал по кругу, лентой низ у своей рубахи, подвязал покойному челюсть, закрывая рот. Дела скорбные, но житейские, и кому-то требовалось заниматься и этим. Он, Николай Иванович Троячный, проводит в последний путь истрепавшего ему все нервы родственника с честью и достоинством. А памятник ко Дню Победы покрасят звуки. Может, конечно, и сам, но как посмотрят люди? А вот внукам скажет, чтобы приехали. На Украине, вон, похоже, этого не сделали...



— Опять они? — полковник недоумённо оглядывается на меня.

Если ему отвечать за безопасность границы, то за безумие на ней жителей близлежащих сёл объясняться, видать, мне. Щека у друга снова дёргается, это нервный тик и, скорее всего, от контузии. Где успел поймать её?

Около дубков угадывалась понурая лошадка. К телеге, оглядываясь, тащили по траве тюк двое мужиков.

Бинокль приближает границу до вытянутой руки, и по белым звёздочкам на коленях легко узнаю Орлика, едва ли не последнего из оставшегося в селе коня. Его погоняют веткой Стёпка Палаш и Колька Трояк, бывшие уже дедами даже в моём детстве. Странно, на границу моталась обычно молодёжь...

— Проверить, — отдаёт команду для головной машины полковник.

Остаюсь на броне и единственное, чем помогаю землякам — “рулю” так, чтобы пыль уходила в сторону от телеги. Только бы не везли ничего запрещённого.

Везли... мёртвого. Из старой попоны, свёрнутой тюком, торчали ноги, и командир оглянулся на меня: ты что-нибудь понимаешь?

— Дед Федя того... песня спелась, — начал доклад Стёпка Палаш, выделив из всего десанта в командиры человека с биноклем. И это правильно. У кого бинокль, тот главнее всех.

— Тромб оторвался, — не забыл диагноз дед Коля. — На Украине.

Он перевёл взгляд на меня, на лице мелькнуло удивление, он недоверчиво обернулся за подтверждением догадки к напарнику. Я это, дед Коля, я. Между прочим, везу приветы и фотокарточку от вашего внука-курсанта. Через месяц ему на погону упадут лейтенантские звезды, и он займёт место в одной из таких же боевых машин. Только вот имя покойного...

Спрыгиваю с брони. Непроизвольно задерживая себя, трогаю мокрые бока лошади. Из детства всплывает отцовское предостережение: потных лошадей не поить, прежде надо давать им остыть. Тем более, тянет прохладным ветерком. Чересседельник совсем истончился, а вот ступицы в колёсах можно было бы и смазать. Или солидола теперь днём с огнём? И, кстати, совсем необязательно, что это “мой” дед Федя. Человека два-три с этим именем в селе точно ещё есть...

— С мамкой твоей... — первой же фразой рассеивает надежды Стёпка Палаш, и я трогаю под пыльной простыней торчавшее острое плечо. Дед Коля, заглядывая под покрывало, развязывает какой-то узел около лица покойного, словно не желая открывать и показывать его лицо в неприглядном виде. Вытаскивает повязку, приоткрывает простынь.

Он.

— Как? Почему оказался там?

— Командир его умер, поехал к нему на похороны. Да при наградах, как положено. А там, видать, это как раз и не положено. Налетели скачущие. Может, и не тромб — сердце оборвалось...

Он ещё что-то говорил, а я всматривался в знакомое, хотя и небритое, осунувшееся лицо старого партизана. Он воевал вместе с моей мамой в отряде, которым командовал её отец. Однажды в окружении, когда не осталось надежд вырваться, бабушка свою дочь и самого юного из разведчиков Федю вместе с ранеными отправил через болото. А сам повёл отряд на прорыв в другом месте, отвлекая на себя немцев. Погиб, когда поднимал партизан в атаку и закричал “ура”. Пуля попала в горло, она словно хотела остановить этот клич — клич отваги и победы...

Когда я оказался в плену в Чечне и за меня затребовали миллион долларов выкупа, и люди понесли родителям деньги — кто сто рублей, кто пятьдесят, дед Федя вместо живых денег принёс баночку краски:

— Вот, хотел бабке своей крест на могиле обновить, но пусть полежит под старым. А тут, ежели краску продать, какая-никакая, а копейка появится. Вдруг её-то как раз и не будет хватать на освобождение...

И вот дед Федя лежит передо мной на старой скрипучей телеге с вырванными медалями. Живой он не только хранил память о войне и погибших односельчанах. Он, как тогда при прорыве, словно прикрывал собой ещё и маму. Теперь, выходит, она осталась крайней, последней из отряда...

Господи, как всё вдруг сошлось около деревенской телеги. И боль, что текла из Украины в Россию далеко-далеко отсюда и, казалось, не затронет меня живую, вдруг выцелила острием в самое сердце. Дотянулась через сотни километров, отыскала меня среди перелесков, пронзила, заставила бес- сильно замереть. И я со своей — не своей колонной, опоздавший на какие- то сутки. А вась бы наш проезд утихомирил горячие головы там, за дубками, вдруг непреодолимой стеной разделившими всех, кроме контрабандистов.

Зашелестела в голос трава у колен. Ветер от дубков, легко разогнавшись по чистому полю, упруго ударил в спины. Вихрю они препятствием не послужили, ему бы мчаться дальше, но он почемучу-то закрутился юлой вокруг нас, психом расшвыривая из телеги соломенную подстилку. Орлик тревожно зафыркал, и Степан, преодолевая сопротивление, продавился к нему, обнял за шею, унимая и свою, и его дрожь. Дед Коля навалился на телегу, вцепился в свата, — то ли как в последнюю опору на земле, то ли не позволяя ветру вознести умершего сразу на небеса, без погребения на земле. Сечкой полоснул дождь, захромыхало, потемнело вокруг, завылло.

— Давайте к нам, — позвал полковник в десантный люк.

Но я остался со стариками. Повторяя Трояка, навалился на телегу, закрывая собой деда Федю. Что уже натворил смерч на украинской стороне, нам было неизвестно, требовалось сберечь своё — живых и мёртвых.

Сколько продолжалось светопреставление, осознать, наверное, мог только Орлик. И то потому, что стоял на земле четырьмя ногами. Нам время в любом случае показалось в два раза дольше...

Первым и пришёл в себя он — зафыркал, словно очищая забитый пы- лью рот. Унялась у ног омытая трава. И солнце вновь заластилось с неба: “Ничего не помню, ничего не знаю, не при мне было”. Подняли головы на меня и старики: что это было? Американский торнадо, подчиняющий себе всё? Он такой, он вечно готов свалиться туда, где ещё минуту назад свети- ло солнце, чтобы перекурочить, разметать, сломать мирную жизнь. Не зна- ем, как на Украине, а вот мы выстояли! И никого не сдали...

Спрыгнул с БМП, удерживая от тика щёку, полковник. Неожиданно сде- лал то, что обаяно было исходить, наверное, от меня — перекрестился. Знать, повидал и прочувствовал за время нашей разлуки что-то более значи- мое в этой жизни.

— Я уведу броню в другое место, — прошептал затем только для мо- их ушей.

Зачем?

Но он уже подтолкнул меня плечом — ещё наверняка увидимся. Вспрыг- нул с разбега на острую грудь машины, отдал команду, и та осторожно, что- бы не испугать лошадь, развернулась, ушла виражом к кладбищу. За ней, как за вожакон, начала вылетать из засады и выстраиваться журавлиным клином остальная “гусянка”. Не закурькала — ревела моторами на греш- ной земле. Оно и правильно: что бы ни летало в небе, земля остаётся у тех, чей стоит на ней пехотинец. А я для них всё же лучшее в округе место вы- брал. И какая защита была родному селу!

Но бронеколонна истончалась, исчезала в самосевке, и вдруг меня прон- зило: а ведь командир вводил не просто свой клин. Он вводил от могил мо- их родных и близких, к которым я ненароком, думая только о военной вы- годе, привёл войну. Словно заглянув в неведомые мне глубины, полковник распознал какую-то неправильность сделанного мной и теперь прикрывал не только страну, выделенный ему участок границы с моим селом, но и лично меня. Уралец оказался мудрее на ту самую контузию, которую заполучил без меня на одной из войн.

И как совсем недавно я кивал могилам родных с брони БМП, кланяюсь незаметно вслед исчезающей колонне. Спасибо. И... и тем не менее, всё рав- но! — танцуйте, мужики. Танго!

Лезгинку. Краковяк. Жемжурку!

Танцуйте без усталости, с полной отдачей, пусть даже ради других — как только и может русский солдат. Потому что наша телега с дедом Федей — она тоже из той, общей боли, что течёт к нам с юго-востока. И как желал командир, но как пока не будет на самом деле — пусть окажется последней.

— Но, милый, — тронул Орлика Палаш.